

МАРИЯ ПОЛЯНСКАЯ

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ



Мария Полянская
Станционный смотритель

«ЛитРес: Самиздат»

2016

Полянская М. В.

Станционный смотритель / М. В. Полянская — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Главный герой знакомится со Смотрителем переезда и его внучкой в тяжелый момент своей жизни, и ему не раз предстоит принять нелегкие решения. Герой получит шанс прожить свою жизнь еще раз, однако за все придется платить. Выбор между любовью и долгом, между жизнью и смертью, все это в новой повести Марии Полянской "Станционный смотритель".

Станционный смотритель Предисловие.

Конечно же, это не я придумала. Конечно же, это будет повесть. Конечно же, в ней будет встреча и в ней будет любовь. И это, пожалуй, все, что связывает два вымысла двух авторов, один – великий, а другой – просто вымысел. Вы спросите, нельзя ли было найти другое название – в словах множество букв, в языке – множество слов, в мире – множество языков, неужели из этих множеств множеств множеств нельзя было составить новое сочетание, и я отвечаю – именно потому что нельзя, и написано мной это предисловие, или апология слова и сюжета.

Начать надо, как всегда, с детства. В моих детских воспоминаниях нет большего восторга, чем преклонение перед железной дорогой. Стальные блестящие рельсы, темные, пропитанные креозотом шпалы, таинственные стрелки, подмигивающие семафоры, бородатые стрелочники и стрелочницы (почему-то все они были бородаты), весь этот мир представлялся мне мистическим и непостижимым, я представляла себе, что это я управляю движением поездов, распределением платформ, сортировкой, прибытием и отбытием (падежи должны быть именно такими), вечно и бесконечно вдыхаю самый дух железной дороги. Нет, для меня она не олицетворяла никакие странствия – мы просто жили в домике неподалеку от большого сортировочного узла, и мой нежно любимый покойный дедушка часто водил меня погулять на Станцию – именно с большой буквы, потому что единственный понимал мое благоговение перед рельсами. Нет, для меня в железной дороге главное было – стрелки, я буквально млела от преклонения перед стрелочницами, когда они ворочали вручную тяжелые в повороте механизмы. Пусть я буду неправа, но в моей памяти отложилось именно это натужное, не для хрупких женских рук и плеч движение перевода стрелок, приводящее к необратимому изменению маршрута огромного, протяженностью в наш поселок поезда. Сам поезд меня абсолютно не интересовал – это была просто машина, побольше, чем такси, в котором меня иногда возили к бабушке, и все, зато стрелки и особенно стрелочницы – это было чистое волшебство. Как такие маленькие смешливые тетки в ватниках и сапогах не боялись, стоя прямо на путях, ворочать судьбы мира в промежутках между беззлобным бабьим трепом и жалобами на *непутевую* семейную жизнь?

Есть у меня и еще одно воспоминание – я уверена, что мне позволили сделать это самой – под присмотром взрослых, разумеется, не без помощи все того же дедушки и стрелочниц-хохотушек, но все же самой – самой взять в руки управление жизнью сотен других людей, направить огромный, тяжелый, неповоротливый состав по новому пути, исполнить такую серьезную, ответственную работу, последствий которой я тогда все равно не понимала. Ну подумаешь, иной путь...

О том, что такое иной путь, иная жизнь, иное стечение обстоятельств, я задумалась лишь тогда, когда в моем существовании вновь возникла железная дорога, вернее, ее маленький участок, переезд в одном из окраинных районов города, где я тогда жила. Дело было и в том, что я тогда любила одного человека, любила безумно, беспamięтно, беспечно, бездумно, бесконечно, но главное – ответно. И он любил меня так же, как я, и в этом состояла наша общая трагедия, не позволившая намертво связать наши судьбы. Нас было слишком много друг для друга, нашей любви было слишком много для этого мира, и мы не смогли существовать в одном пространстве. Тот маленький переезд был на пути к любимому человеку, и я каждый день видела его из окна автобуса по дороге туда, и почти не видела – из-за слез и темноты – по дороге обратно. И однажды я подумала – может, мне стоит выйти из автобуса и постучаться в маленькую деревянную дверь, вдруг, там за ней, окажется другая

реальность, не такая ужасная, как та, в которой я каждый день езжу на свидания? Однако я так этого и не сделала...

Теперь начнем.

Картина 1. Я

В городе душно. В городе летом уже почти что два месяца стоит удушающая, всепобеждающая сушь, выматывающая все силы днем и не дарующая сна ночью. Я – совершенное ничто, нуль без палочки – клерк в офисе средних лет от роду, в разводе с женой и в разлуке с ребенком, который мне не очень-то и нужен. Каждый день я езжу на работу одной и той же избитой в кровь дорогой мимо унылых новостроек, мимо натужно дымящих заводов на северо-западе города в офис, где и сам себя замечаю с трудом. Трудно сказать, есть ли смысл в моей работе – ведь я и сам его почти что не вижу. Когда-то давно, когда мама еще была жива и здорова и хотела для меня лучшей доли, я собирался стать художником – у тебя прекрасная рука, говорила мама и гладила меня жесткой сработанной ладонью по голове. Но потом пришли новые 90-ые годы, и мама заболела, а папа ушел к новой жене – это получилось не совсем одновременно, но причинно-следственная связь была налицо – едва в папиной жизни появилась новая женщина, как в мамином теле проступили контуры ужасного розового головоногого, чтобы не упоминать имя дьявола всуе, и все пошло наперекосяк. Мне в те годы было всего ничего, но я уже тогда понял, что больная женщина никому не нужна, однако мама была жива и сопротивлялась болезни, и я не мог себе позволить поступить в Суриковку – нам отчаянно были нужны деньги, мне – на маму, папе – на мою новорожденную на старости лет сестру, и мы оба впряглись в ярмо. Я не осуждаю папу – вполне возможно, будь я не его сыном, а его отцом, я поступил бы также, но получилось, что он ушел из огня да в полымя – ребенок родился ослабленным, больным до конца своих дней, и папа, сбежав от одной обязанности перед женщиной, по уши влип в другую, конца и края которой не было, я же взял на себя его обязанности, и вот уже без малого десять лет я привязан к стулу и столу в конторе.

На самом деле, все не совсем так. Мама прожила недолго, каких-нибудь пять лет, пролетевших для меня безо всякого следа – больницы, операции, уколы, лечение, постыдный для молодого мужчины уход за старой женщиной, все это выжгло в моей душе какую-то полосу нечувствительности – словно я попал в лесной пожар, в котором сторели мечты, картины, любовь к родителям, все наши сбережения, все, что связывало меня с жизнью. Я работал механически, искал места, где больше платили, брался на все, что плохо лежало, ничего не стыдился и ни о чем не жалел. Поэтому, когда мне в больничном морге отдали вещи, когда-то принадлежавшие маме, я не почувствовал ничего, кроме облегчения. Каюсь, я, правда, ничего не почувствовал – ни боли, ни тоски, ни обиды за бессмысленно потраченные пять лет моих стараний.

Почему я тогда не бросил все это? Даже не знаю, возможно, все та же проклятая нечувствительность души – в тот вечер я впервые за пять лет взял кисть в руки, и ничто не выплеснулось из меня на холст – словно то, что жило внутри все эти годы, выцвело, обесценилось, усохло, уменьшилось до размера еле различимого просяного зернышка – крохотной черной точки-отметинки в углу подрамника. Я был пуст, мертв как художник, но все еще жив как человек и как боевая единица. Отсрочка, полученная мной на время болезни мамы, закончилась, и, скорее всего, меня бы забрали в армию, слава богу, не в Афганистан, но тогда хватало и других горячих точек, но тут случилось первое в моей жизни обстоятельство – моя коллега по работе забеременела. Имело ли это какое-либо отношение ко мне, спрашиваю я себя сейчас, и не нахожу однозначного ответа. Да, поскольку мы несколько раз встречались,

нет, потому что ни мне, ни ей ребенок был не нужен. Даже она сама была мне не нужна – разве что только тогда, когда становилось невыносимо тоскливо и одиноко в квартире, где все напоминало об ушедшей матери и о предавшем меня отце. И, тем не менее, это была первая лазейка, калитка-ловушка – когда открываешь дверку, то не сразу замечаешь стопорный механизм – обратно она не пускает. С другой стороны, это и вправду похоже на стрелку – после перевода поезд никогда не сможет вернуться на прежний путь.

Для меня наступила новая жизнь – вместо армии я стал отцом собственного ребенка. Так же, как мой собственный отец, повесивший себе вечное ярмо на шею, я взвалил на свои плечи жену – чужую белолицую девушку, и сына – недовольного жизнью, не по годам бойкого и громкого ребенка. Жена тут же ушла с работы, угнездилась в квартире и стала кормить меня на убой невкусной едой, готовить которую ей помогала ее мать – высохшая на корню алкоголичка, ежедневно покупавшая себе дешевую бутылку через грузчиков в гастрономе. Места краскам и холстам в моей квартире опять не оказалось так же, как это было при жизни матери, и я отложил свою мечту на этот раз так далеко, что с годами даже забыл, что она у меня вообще была. Сын рос, жена толстела, теща усыхала, один я не менялся в этих предлагаемых обстоятельствах – начиная с первого кризиса, работал, где попало и как попало, лишь бы деньги платили, домой возвращался только в состоянии подпития и то – поздно в ночи, после двух-трех бутылок пива на детской площадке, отцу не звонил, о больной сестре не думал вообще. Словом, просто жил, как все.

В тот год отец впервые позвал меня на кладбище – сказал, что приедет с сестрой. Повод был почти что формальный – Прощеное воскресенье, но я чувствовал, что за этим что-то стоит. Мы встретились уже у могилы, и я сразу увидел всю картину – так, как будто все-таки стал художником. Голый, прозрачный до голубизны весенний лес на севере Москвы, еще мерзлая, вытоптанная скорбными ногами земля, покосившаяся ржавая оградка, просевший одним боком слепой черный памятник, золотые когда-то буквы выцвели, нелепо яркие искусственные цветы, пережившие долгие снежные зимы и бурные дождливые весны, постаревший, с высоко поднятыми плечами мужчина и девочка с бессмысленно счастливым лицом. Отец и сестра – самые близкие и самые ненужные мне люди. Отец-предатель и сестра – плод предательства, механически подумал я про себя, но промолчал. Девочка не хотела подходить к чужому дяде, а отец не настаивал – молча глядел на неухоженную могилу матери. Мы оба ничего не чувствовали друг к другу, и все же были связаны странными узами, которые тянулись к нам из могилы, которую мы оба избегали навещать все эти годы.

Отец первым обратился ко мне, движением руки послав сестру поиграть на дорожке. Я знаю, это я виноват в ее смерти, сказал он одну из тех заготовленных заранее фраз, на которые следовало бы возразить только для того, чтобы начать вечный спор с собственной совестью. Но я не собирался ни обвинять, ни оправдывать, поэтому продолжал стоять у могилы молча. Она узнала, и заболела, почти сразу же, продолжил он покаяние, в котором я не принимал никакого участия. Я понял, что ему нужно выговориться, впервые за столько лет, и я – подходящий для этого материал, и мне стало жалко всех – маму, вынужденную выслушивать запоздалое раскаяние, себя, давно забывшего о том, что у него когда-то были родители, сестру – в силу болезни она не понимала ни слова из того, что говорил отец, и уже начинала мерзнуть на холодном кладбищенском ветру.

Но тут он меня удивил, удивил так, что я впервые за эти годы посмотрел ему прямо в лицо. Когда-то рубленое из цельного куска, сегодня оно оплыло по краям, словно квашня, выбравшаяся за край бочки, и все же это было лицо моего отца. Лицо, которое я однажды примерил на себя и передал своему сыну. Он сказал просто, но веско – Но я ни о чем не жалею. Честно. Дай мне кто-нибудь еще один шанс повернуть все по-другому, остаться, перетерпеть, забыть, уйти, я бы поступил точно так же. Ушел, родил, мучился, все было бы так же, как сейчас. Никто на самом деле не виноват, каждый сам выбирает судьбу по себе. Я,

мама, ты, она – он махнул рукой в стороны сестры. – Мы все выбираем сами. Просто хотел, чтобы ты это знал. На всякий случай. На будущее.

Отец и раньше был немногословен, но сегодня он явно превозмог себя и сказал мне то, что давно хотел, но не видел случая. На могиле матери его слова звучали странно – как будто он хотел, чтобы она тоже была свидетелем нашего разговора.

Уходя, отец сунул мне в руку коробку ярко-синего цвета – подарок внуку, сказал он. Они так ни разу и не виделись.

Дома я отдал коробку жене и на следующий день подал на развод. Слова отца немолчным шумом стояли у меня в ушах, пока продолжался кошмар – жена и теща лишили меня родительских прав, лишили родительской квартиры, но вскоре и эти обиды забылись, как несущественные в моей жизни по сравнению с тем громадным одиночеством, которое точно айсберг, всплыло в мою душу и заняло все мыслимые и немыслимые места и ниши.

И вот я здесь, в вонючем автобусе, на северо-западе Москвы, каждый день я еду туда и каждый день возвращаюсь обратно, а в промежутке я смотрю оловянными глазами в экран, на котором мелькают картинки, нарисованные не мной, и что-то делаю – я все время что-то делаю, или мне только кажется, что я, а не кто-то другой это делаю, или мне кажется, что я что-то делаю, а не просто сижу. Сказать трудно – ведь когда я еду домой, я почти не помню, чем занимался целый день.

И каждый день я еду мимо железнодорожного переезда со стрелкой.

Картина 2. Домик на переезде

Это странное место. Начать с того, что заводская железная дорога в городе уже никому не нужна, как не нужна стрелка, переводящая поезд с одного бесполезного пути на другой, оба из которых ведут на глухую, заколоченную забором территорию бывшего завода. Завод давно подлатали и сдали под офисы, в одном из которых я и работаю.

Автобус никуда не может уйти от переезда – раз есть рельсы, значит, должен быть переезд, и раз есть две дороги, значит, должна быть стрелка, переводящая пути. Это я понимаю, как понимаю и то, что на протяжении нескольких лет работы ни разу не видел ни одного поезда, прошедшего этой веткой.

На переезде есть светофор, но и это не самое удивительное. Самое непостижимое в этом переезде – маленький домик, стоящий рядом с переездом. Домик аккуратный, деревянный, как будто игрушечный, все время свежепокрашенный и ухоженный, хотя на самом деле там никто не живет. Я вижу его пять дней в неделю из окна автобуса, зимой и летом, в яркое солнце и в зимнюю непогоду, и он всегда похож на самого себя – бутафорский, нелепый посреди никому не нужного переезда, около стрелки, которая никуда никого не переводит.

Часто возле переезда бывает непроходимая пробка – мешанина из машин, автобусов, пешеходов, норовящих прошмыгнуть мимо машин на другую сторону улицы, и тогда я долго смотрю в окно на домик на переезде. Иногда мне представляется совсем нелепая картина – как будто это мой дом – в окне колышутся легкие ситцевые занавески, на подоконнике цветок в горшке, рядом с домиком разбит палисадник, а позади него – небольшой сад и огород, вдоль путей между деревьями натянута веревка, на ней сушится белье, а внизу качаются деревянные качели. Из дома выходит легконогая рыжеволосая женщина, на бедре у нее уютно уселся младенец, которого она ловко и сильно поддерживает рукой, оба смеются чему-то своему...

Это, скорее всего то, что англичане называют *daydreaming* – сон посреди дня, мечта посреди реальности, чужое небытие посреди моего собственного, и, тем не менее, картина представляется мне настолько ясной, что я не только вижу ее во всех красках, во всех деталях, с тенями, мазками, но и слышу как будто наяву. Смеется женщина, всю гулит младе-

нец, развеваются на ветру занавеска, хлопает веревка с бельем, скрипят качели, перестукивают рельсы, и тепло пахнет креозотом от шпал.

Прихожу в себя я обычно от резкого движения – это наконец-то трогается с места автобус, шевелится и ползет дальше многокилометровая пробка в сторону магистрали, домик постепенно исчезает из виду, дальше вокруг меня – только огромные серые панельные коробки, как и положено посреди города. И даже я сам не вполне понимаю, почему именно этот странный домик на переезде будит во мне тоску по несостоявшейся семейной жизни – по женщине, которая будет любить и ждать меня каждый день, по младенцу, зачатому и рожденному не по принуждению или по случайности, по уюту и быту, по цветам и свежему белью, по качелям и поездам.

У нас в роду нет ни одного рыжего человека, все мы темноволосые и темноглазые, моя бывшая жена – блондинка, мой сын от рождения был русым ребенком, и даже моя сводная сестра – брюнетка. Откуда в моей мечте появилась рыжеволосая женщина и ее ребенок, я не понимаю, хотя догадываюсь, что на самом деле это всего-навсего мечта – мечта несвободного мужчины средних лет и среднего достатка о свободе – рыжеволосой, бесстыжей, зеленоглазой оторве. А может, я просто насмотрелся в детстве картин художников-прерафаэлитов, где загадочные, длиннотелые дивы трясли рыжими английскими гривами? Что бы это ни было, рыжеволосая женщина и ее младенец – всего лишь плоды недосыпа и нехватки женского внимания в моей сегодняшней неуклюжей жизни, думаю я, настраиваясь на офисный лад.

Правда в том, что у меня действительно нет женщин. После развода с женой я пару раз встречался с знакомыми девушками из офиса, но дальше обычного постельного беспорядка дело не пошло. После смерти мамы в женском теле для меня не осталось никаких тайн и загадок, а после рождения сына я и вовсе перестал видеть в женщинах таинственных и прекрасных существ. Любовь физическая сама по себе была приятна, но не требовала продолжения, а любовь духовная пока что так и не встретилась на моем пути, поэтому ничто не привязывало меня к тем подружкам, которые время от времени оставались у меня ночевать. Я был опытен и самодостаточен, как старый холостяк, я умел поразить девушку вкусным ужином или необыкновенной чистотой, мог доставить ей удовольствие или принести завтрак в постель, но все это были внешние вещи, которые не трогали мою душу. Происходящее казалось одинаково пресным, выношенным, банальным или просто навязчивым, и я делал все, чтобы второго или третьего раза больше не было. Разумеется, девушки пытались под разными благовидными и неблагоприятными предложениями продолжить знакомство, но я слишком хорошо помнил последствия того, что случается с неосторожными и увлекающимися мужчинами, и строго блюл свое одинокое гнездо.

Честно говоря, мне было хорошо одному. Жену с ребенком я больше не видел, отец и сестра переехали жить в другой город – отец очень рассчитывал на экзотическую терапию дельфинами, мама лежала на кладбище под покосившимся памятником, а я жил от понедельника до пятницы, потому что за годы, проведенные у маминой постели, растерял друзей и приятелей, а новые как-то не наживались. Большинство моих коллег уже были женаты, остальные шлялись по кабакам, и те и другие были мне не интересны, хотя я бы вряд ли смог объяснить, по какой причине.

Так же, как я не мог объяснить себе, почему меня трогают в жизни только две вещи – домик на переезде и пустой холст с точкой в углу подрамника – единственное, что напоминало о мечте стать художником. Каждый день я пялился на эти две вещи и не мог связать их воедино до тех пор, пока однажды вечером вдруг впервые за последние десять лет не взял в руки кисть.

Картина стояла перед моими глазами, но не как живая или фотография с живой – это была настоящая картина. Я видел не жизнь – я видел то, как я ее однажды уже написал.

Все было понятно – от рисунка до палитры и красок, от освещения до пастозного мазка, от размера до багета, все это как будто уже существовало в какой-то иной действительности. В той, где я становился художником, где мама и папа жили долго и счастливо, где у меня была здоровая сестра, красивая рыжеволосая жена и толстощекий младенец в перетяжечках.

В тот вечер я писал как сумасшедший, не получивший дозы успокоительного, как алкоголик, дорвавшийся до бутылки, как маньяк, выследивший долгожданную жертву. Я писал так, словно и не было этих десяти лет, словно время повернулось вспять, словно у меня не было ненавистной работы, словно на мне не налипло грязи и боли за эти годы, словно я прозрел и обрел язык после вечности слепоты и немоты.

Утром картина была готова, и я впервые посмотрел на нее при свете солнца. Конечно, я не мог не видеть, насколько это было наивное и неумелое творение рук, отвыкших от своего дела. Неправдоподобные, чистые цвета, неумелые мазки, плоская перспектива, отсутствие глубины и света, все это было налицо. Таковую работу не взяли бы даже на набережной, где горе-художники сбывают свое и чужое барахло, но в то же время в ней было что-то, бесконечно дорогое и таинственное, может быть, ощущение летнего жаркого ветра в окне, может быть, запах чистого белья, может быть, сочный розовый цветок на подоконнике, может быть, молочный запах женщины и ребенка, не знаю, но было то, что мне в ней удалось в совершенстве, и я сам это знал. Без сил я повалился спать и проспал до вечера, и ни одна мысль о работе не потревожила меня в этом сне, в котором я был просто счастлив.

Однако реальность остается реальностью, и на следующее утро я снова ехал в автобусе, тщательно отмыв ногти от краски. Картина стояла в углу, накрытая тканью, мне было бы слишком страшно и стыдно показывать ее случайным гостям – я ведь понятия не имел, откуда взялся этот нелепый сюжет, кто руководил мной при выборе красок и композиции, и что вообще заставило меня изобразить домик на переезде, в котором никто не живет?

На переезде, как и каждое утро, образовалась несусветная пробка, автобус полз медленно, я злился на дорогу, на людей в машинах, соседей в автобусе и на себя, с горечью предвкушал объяснение на работе за пропуск без предупреждения, и потому не сразу обратил внимание на одну деталь в донельзя знакомом пейзаже за окном. Когда каждый день видишь одну и ту же картину, глаз замыливается до такой степени, что изменишь в ней что-то, и ты даже не сразу вспомнишь, а было ли это раньше. Домик мелькнул за окном, автобус клюнул носом вперед и остановился, как вкопанный. Пассажиры попадали друг на друга, как обычно, начался крик и легкая паника. И в этот момент я впервые услышал звук закрывающегося прямо перед самым автобусом шлагбаума на переезде. Никто, включая водителя, наверняка ежедневно мучившегося этим маршрутом, не ожидал того, что по ветке пустят поезд, однако это произошло, и вся пробка встала за нашей спиной, в нетерпении и в недоумении гудя клаксонами.

От нечего делать я выглянул в окно и обмер – картина на переезде действительно изменилась. Сначала я не поверил собственным глазам, но чутье прирожденного художника меня не обмануло. Это была правда, и это действительно случилось на самом деле. Всего одна, но бесспорно говорящая деталь, всего один, но абсолютно однозначный намек, всего одно, но совершенно четкое указание. В окне на ветру полоскалась легкая ситцевая занавеска – точно такая же, что была на даче у моей бабушки в детстве, легкая, с меленьким, невыразительным, выцветшим рисунком, точно такая же, какая была в домике моей мечты и точно такая же, какая теперь была выписана на картине дома у переезда.

Возможно, это была случайность, но все эти вещи слились для меня в одно общее впечатление – старомодный звук колокольчиков, предупреждающих о приближении поезда, скрип несмазанного шлагбаума, визг тормозов и сцепления, и над всем этим – чистый звук легкой ткани, колеблемой ветром, который становился тем слышнее и громче, чем дальше отходили на второй план все прочие звуки. Осталось окно домика на переезде, осталось тре-

петание занавески, где-то вдалеке послышался осторожный перестук колес приближающегося поезда, и постепенно все остальное затопила тишина. Я как замороженный смотрел на окно в домике, слушал движение невидимого поезда вдалеке и ждал. Ждал, но чего – я и сам не смог бы ответить на этот вопрос. В этот момент время для меня остановилось – казалось, вечность готова помедлить, пока я не пойму, ради чего занавеска на окне, ради чего поезд вдалеке, ради чего я сам здесь. Стоял автобус, стояли машины на переезде, стоял дом, и только занавеска рвалась на ветру туда, откуда доносился звук поезда.

И тогда я понял и подошел к двери, предусмотрительно открытой водителем, и сошел на деревянный помост вдоль рельсов. Вокруг было тихо, как на заброшенном полустанке в лесу, я шел, не оглядываясь к домику. Теперь с близкого расстояния, я вдруг разглядел цветок в горшке на подоконнике, и натянутую веревку, и качели у самой земли, и палисадник, и огородные грядки.

Я был почти у домика, когда дверь открылась. Однако навстречу мне вышел человек, которого я вовсе не ожидал увидеть.

Картина 3. Станционный смотритель

Держась одной рукой за ручку двери, на меня в упор смотрел старик с седыми лохматыми бровями, в оранжевой путевой безрукавке, одетый неряшливо в бесформенные брюки, высокие керзовые сапоги и грязную фуфайку. От него отчетливо несло не очень мытым телом, словом, это был самый настоящий железнодорожный рабочий, во плоти и крови, очень далекий от образа рыжеволосой женщины с ребенком. Я невольно сделал шаг назад, но он цепко поймал меня за руку и, улыбнувшись, потянул за собой.

Ты заходи, сынок, – сказал он и заговорщически подмигнул мне. – Присядем рядком, поговорим ладком, в ногах правды нет. Дай людям своим делом заняться, а то вишь, застыли, сердешные – ни туда, ни сюда.

Я оглянулся и понял, что старик имел в виду – все вокруг застыло, пока я шел к домику на переезде. Застыли машины в пробке, с открытой дверью застыл перед шлагбаумом автобус, застыли пассажиры и водители, застыли мойщики стекол, и даже поезд вдалеке застыл, едва появившись в конце путей. Старик вновь потянул меня за рукав, и я шагнул в дверь, почти спиной ощущая, как она захлопывается и как все за ней приходит в движение, словно разминая затекшие за время неподвижности мышцы.

Дверь захлопнулась, и я на секунду ослеп, попав с яркого солнца в полутьму домика. Единственным источником света было небольшое окно, на подоконнике стоял цветок в горшке, окно было открыто и через него в домик проникали обычные городские звуки. Там, за окном, стоило мне войти в домик, тут же возобновилась обычная суетная жизнь, и это было странно – словно все ждали, пока я выйду из автобуса и откликнусь на приглашение странного старика. Тем временем он сам щелкнул выключателем и я увидел, что домик, куда я попал, вовсе не так уж мал, каким казался мне снаружи. Я стоял в большой просторной комнате, посреди которой был круглый стол под зеленым абажуром – такие обычно бывают на старых дачах, справа и слева из столовой в другие комнаты вели беленые филенчатые двери, завешенные легкой полупрозрачной тканью, а прямо за столом начиналась терраса, за окнами которой качались на ветру кусты сирени. Справа от меня в углу была небольшая кухня – в ней и было окно с цветком и ситцевыми занавесками, и кто-то отчетливо гремел и стучал посудой. Старик же сидел за столом и пил чай из граненого стакана с витым подстаканником – в таких всегда давали чай в поездах дальнего следования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.